

с. 3

ФЕЛЬЕТОНЪ „ОДЕССКАГО ЛИСТКА“

4-го марта 1889 года.

ЖУРНАЛЬНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Внѣсто предисловія.

Для посторонняго наблюдателя, стараго, привычнаго вида, любителя «словесности», не вѣсть ея гдѣ и въ формахъ,—вблизи современной литературы представляется довольно интереснымъ. Въ этой литературѣ происходитъ что-то такое, чего не было прежде. Она, кажется, не продолжаетъ прошлаго, а, напротивъ, идетъ въ разрѣзъ съ нимъ, преслѣдуя цѣли, которыхъ прошлое не имѣло въ виду. Я далеко не принадлежу къ тѣмъ несомнѣннымъ критикамъ, которые привычно смотрятъ на настоящее состояніе русской литературы и, вспоминая старое доброе время, — время Тургеневыхъ, Писемскихъ, Достоевскихъ, Некрасовыхъ, — меланхолически восклицаютъ: «Какая дегенерация! Куда дѣвались наши корабли? Кто ихъ замѣнилъ? Какая пошлость насъ окружаетъ! Гдѣ тотъ beau idéal, которымъ мы жили, на которомъ воспитывались, который зажигалъ въ нашихъ сердцахъ священный огонь?» — Правда, времена Тургеневыхъ и Достоевскихъ прошли, и прошли, кажется, безвозвратно, но вѣдь и наше время не такъ ужъ безнадёжно плохо, какъ это можетъ показаться на первый взглядъ. Мнѣ кажется, что люди вѣчно грѣшатъ, когда, вспоминая свои юные годы, тѣ годы счастья, когда возмъ горѣлъ, когда всякое удовольствіе чувствовалось до боли, когда въ порывѣ великодушія хотѣлось обнять все человечество, когда казалось, какъ говоритъ Байронъ, чтобы у всѣхъ женщинъ были одни уста, и чтобы, цѣлуя ихъ, можно было перецѣловать сразу всѣхъ женщинъ, — мы сравниваемъ прошлое съ настоящимъ и осуждаемъ это настоящее на томъ неопредѣ-

ленномъ основаніи, что прежде наша впечатлительность была звучнѣе и что теперь наши нервы притупились. Мы, не подозревая этого, обвиняемъ самихъ себя, и строимъ себѣ, такимъ образомъ, новую иллюзію, на развалинахъ прежнихъ столь горькихъ уже иллюзій. Вообще, сравненіе — плохой методъ для неканія истины, хотя-бы и относительно, а сужденіе о настоящемъ на основаніи впечатлѣній прошлаго тѣмъ болѣе несостоятельно, что оно никогда не даетъ объективнаго вывода и продолжаетъ вѣчную ошибку. У прошлаго были свои задачи, свои идеалы, свои цѣли, которыя оно преслѣдовало съ болѣе или менѣе пастойчивостію, энергіей и умѣніемъ. Но вѣдь и у настоящаго есть цѣли и задачи, которыя, по необходимости, отличны отъ задачъ прошлаго и имѣютъ другой характеръ. Жизнь — не стоячая вода въ пруду, покрытая плѣсенью, неподвижная, не представляющая никакихъ другихъ измѣненій, кроетъ постепеннаго разложениа. Жизнь — ключъ живой воды, вѣчно питающагося, вѣчно свѣжей, вѣчно новой. А вѣдь въ жизни нужно ориентироваться, если не съ уваженіемъ (ибо непозволительно, что въ нея выйдетъ, когда она войдетъ въ возрастъ), то, по крайней мѣрѣ, съ симпатіей, съ любовью, потому что только на ней и сосредоточиваются наши надежды. Будемъ-же говорить о современной русской литературѣ не въ предвзято возвышенномъ тонѣ, но съ симпатіей, не повторяя вѣчныхъ социалістическихъ о прошломъ, не восхваляя непревѣнно прошлое на счетъ настоящаго, но и не восторгаясь продуктами современнаго ума и сердца, когда эти продукты окажутся нигде негодными и съ гнилью.

При обзорѣ современной русской литературы à vol d'oiseau, первое — что бросается въ глаза, — это ея неоднородность, сложность и путаница интересовъ, преслѣдуемыхъ ею, интересовъ, которыхъ нельзя подвести подъ

однаго общаго знаменателя. Въ этомъ отношеніи не слѣдуетъ приписывать особеннаго значенія тѣмъ восторгамъ, которые теперь раздаются въ Европѣ, когда дѣло касается русской литературы. Эти восторги прежде всего касаются прошлаго, а изъ современныхъ писателей относятся лишь къ одному Л. Н. Толстому. Если-бы западный, дисциплинированный, культурный умъ могъ основательно загнѣть въ нашу литературную современность, то, едва-ли онъ проникся-бы особеннымъ сочувствіемъ къ ней.

И, въ самомъ дѣлѣ, обратите вниманіе на то, какъ мало возмнзаетъ въ настоящее время новыхъ талантовъ, какъ незначительны наши писатели разннзятся, какъ мало даритъ насъ серьезными художественными произведеніями, какъ, въ большинствѣ случаевъ, они безсодержательны и, — что хуже, — не искренны. Съ другой стороны, замѣчается-ли въ современной русской литературѣ одно объединяющее начало, одинъ опредѣленный и ясный идеалъ, который было-бы пропаянуто все русское общество? Нѣтъ, этого не замѣчается. Потому-ли, что самая жизнь сдѣлалась сложнѣе, или, почему-либо другому, но для посторонняго наблюдателя эта разрозненность литературныхъ и художественныхъ элементовъ, которые нельзя свести въ одно цѣлое, которые не знаешь какъ согласовать, — представляется значительнымъ недостаткомъ и не говоритъ въ пользу того, что наше время есть время процвѣтанія литературы. Но не будемъ слишкомъ поспѣшимъ въ нашихъ заключеніяхъ. Глаго гдѣ-то въ своей «Исторіи цивилизаціи» говоритъ, что въ исторіи цивилизаціи замѣчаются различныя эпохи; идеалъ — который можно назвать органическимъ, живущій однимъ ясно сознаваемымъ и выходящимъ идеалами, другая, — критическая, — выработывающая для будущаго новый формы жизни и новый идеалъ, потому что прежній уже пошлъ въ сердцахъ людей и уже не

соотвѣствуетъ новыя потребности. Принявъ этотъ принципъ въ русской литературѣ, я-бы говорилъ, что наша эпоха есть эпоха критическая; имъ, очевидно, переживая утилитарный и нравственный кризисъ: то, чѣмъ мы жили въ прошлое, уже не удовлетворяетъ насъ, нами выброшена, нами идеальными стремленіями выкидывалась, осознались, но еще не настолько мысленно, чтобы представлять объединяющее начало, определенное и ясное, руководящее нашими поступками и нашей общественной жизнью. Одни пишутъ, какъ мы ищемъ, чтобы объяснить мои мысли.

Я говорю о Л. Н. Толстомъ. Думаю, что не можетъ быть спора о томъ, что этотъ писатель представляетъ собою громадную величину, выходящую надъ всемъ современною литературою подобно Эйфелевской башнѣ. Но башня такъ громадна, такъ велика, что на значительномъ разстояніи только она и видна; все, что ее окружаетъ, — дома, храмы, церкви, улицы, — весь роскошный городъ, теряется для глазъ въ безразличнѣ тумана и въ этотъ туманъ только ее вы видите; она можетъ быть нестройна, въ ней, можетъ быть, нѣтъ художественной цельности, она, можетъ быть, не удовлетворяетъ эстетическій вкусъ, но она такъ велика, что только ее глаза замѣчаютъ. Говоря о Толстомъ, мы всегда вспоминается то удивительное впечатлѣніе, которое я испыталъ, выйдя изъ желѣзной дорогѣ въ Римъ. Это было весной, передъ вечеромъ, воздухъ былъ удивительно по итальянски прозраченъ, и солнце уже погружалось въ Средиземное море. Попадъ желѣзной дороги быстро кчался, приближался къ свѣтлому городу, но былъ еще далеко; оставалось еще часа три или четыре до Рима. И вотъ, на горизонтѣ, впереди, среди Аппенинскихъ горъ, я замѣтилъ что-то похожее на гору, но слишкомъ правильное; это что-то являлось куполомъ, сначала чуть-чуть замѣтно.

Вотъ все больше и больше выросшаго передо мной. Но гремятъ онъ измѣнилъ свое положеніе, видѣлся то сѣва, то справа, и исчезалъ за болѣе высокими горами, но, по мѣрѣ приближенія, постоянно росъ, поднимался къверху. Наконецъ, онъ такъ выросъ, что уже господствовалъ надъ горами, онъ темнымъ правильнымъ пятномъ раскинулся на голубомъ небѣ и для меня уже не было сомнѣнія, что это удивительная, искусственная гора есть куполъ перекрестка Петра. Такъ я и пріѣхалъ въ Римъ, любилъ куполомъ и не замѣчалъ вокругъ него ничего, кромѣ горъ, и съ тѣхъ поръ представленіе о Римѣ связывается въ моемъ умѣ съ представленіемъ куполомъ св. Петра. Такъ долженъ представляться «Толстой» для иностранца, не живущаго среди насъ, мало интересующагося нашими текущими мелочами и судящаго о насъ изъ своего «прекраснаго далека». Для него вся русская литература сосредоточивается въ Толстомъ, т. е. все то, что въ русской литературѣ есть значительнаго, высокаго, глубокаго, представляющаго собою выдающіеся интересъ жизни.

Но было-бы ошибочно думать, что Толстой принадлежитъ болѣе прошлому русской литературѣ, чѣмъ настоящему. Правда, писалъ онъ началъ сейчасъ-же послѣ Крымской кампаніи, въ шестидесятыхъ годахъ, но я едва-ли ошибусь, когда скажу, что долгое время онъ былъ не поэтъ. Съ Толстымъ случилась довольно любопытная исторія: онъ былъ, конечно, замѣченъ, но не въ началѣ своей дѣятельности, ни въ эпоху «Войны и мира», ни даже позднѣе, почти до послѣдняго времени, ни русская критика, ни русское общество не подозрѣвало, какого писателя они выжили въ Толстой. Одно время онъ былъ даже причисленъ къ писателямъ, «обойденнымъ русской критикой»; а кто не помнитъ тѣхъ странныхъ отношеній, которыя обнаружались по отношенію къ Толстому, когда появилась

«Анна Каренина»; отдавая справедливость его безстрастическому таланту, его упрекали въ томъ, что онъ беретъ сюжеты для своихъ романовъ изъ великосвѣтской жизни, удивлялись тому, какъ можно интересоваться такими героями, какъ Вронскій, или такой героиней, какъ великосвѣтская Анна, недоумѣвали передъ фигурой Левина и, вспоминая прошлое, превращали его въ Буржуа, и рѣшили, съ нѣкоторымъ сожалѣніемъ, что куполомъ, Петромъ и Левиномъ лучше Вронскаго, но что и они не такъ представляютъ въ себя что-то истинное, и желѣзство, что авторъ хотѣлъ изобразить ими; Наташа въ «Войнѣ и Мирѣ», точно также какъ и Катя въ «Аннѣ Карениной» также не удовлетворяла критиковъ, — ужъ очень эти дамы казались имъ мелкими и ничтожными, безъ всякихъ «сладостей», безъ всякихъ «порывовъ». Все, что несъ съ собою Толстой значительнаго и глубокаго, то философское міросозерцаніе, которое просвѣтляло очень ярко (можетъ быть, слишкомъ ярко), въ его произведеніяхъ, — все это оказалось недоступно пониманію большинства, и, въ томъ числѣ, пониманію господъ критиковъ. Такъ было до смерти Тургенева или, вѣрнѣе, до того момента, когда Толстой выступилъ съ своей «проповѣдью». Тогда Европа и провозгласила его гениемъ, сравнивала его съ Шекспиромъ, удивлялась философской глубинѣ его романовъ. Благодаря этому обстоятельству, онъ выросъ въ глазахъ русскаго общества. Европа открыла глаза Россіи. Но вѣстѣ съ тѣмъ возмѣлиась и «проповѣдь» Толстого, и нѣтъ раздѣлялись; дѣлѣтъ съ Европой часть русскаго общества продолжала восторгаться даже его «проповѣдью»; другая часть, напротивъ того, признавая художественный гений Толстого, считала его «проповѣдь» и его философскія экскурсіи «достоинными сожалѣнія заблужденіями гения». Мы, однако, проглядыли одно обстоятельство; всѣ философскія

положения, вся проповедь Толстого уже находится в совершенно различных состояниях не только в «Аннотации», но также в «Войне и Мире», во даже в «Семьдесятых годах» и в перемыслих проповедей, и увидели мы это только в последнее время, когда стали снова его перечитывать. Всего этого прежде мы не знали и не подозревали, что значение Толстого заключается не столько в его художественных талантах, сколько в его своеобразном мировоззрении, которым проникнуты все его произведения. С этим мировоззрением можно соглашаться или нет, но не видеть его нельзя. Нельзя видеть в Толстом с одной стороны — художника, с другой мыслителя, и отделять друг от друга эти две стороны. Толстого нужно брать таким, каковы он есть, во его целостности, и только в этом виде судить его.

Каковы образы могли случиться, что Толстой такое долгое время был не поэт? Я думаю, что на этот вопрос можно отвечать одним простым соображением: Толстого не понимали потому, что то, что он нес с собою, было еще вперед, и не отрывало ни стремлений, ни задатки времени. Вспомните, что те были шестидесятые годы, эпоха нашего «Возрождения», аснимать и определяли (уже ушли в своей определенности) социальные задачи; вспомните, что все тогда считали о более широкой общественной деятельности, что в философии мы строго придерживались позитивизма, изучали (с грехом пополам) Канта, подсаживались над Шеллингом и Гегелем (не вли о них обстоятельного понятия) и увлекались естественными науками. Философские взгляды Толстого, с их ярко метафизическим оттенком, в то же время выражаемы не систематически, туманно, в случаю, среди беллетристического рассказа, казались нам просто чуждой, за которую

собственно говоря, и не следовало обращать серьезного внимания, потому что все это — не более, как мечтательное заблуждение таланта. С тех пор, однако, много воды утекло; не Толстой изменился, а мы изменились. Теперь он проповедничает систематически, в особые трактаты, только то, что прежде проповедничал случайно, в романах. Шестидесятые годы кажутся вдалеке, и мы не увлекались уже более из позитивизмом, из естественными науками. Даже, напротив, в современной русской обществу зачастило, может быть, даже слишком большая склонность к метафизическим воззрениям, к преобладанию чувств над разсудком и если есть еще староверы, то они кажутся «антинатами», на которых нечего обращать внимания. И вот теперь, при новом нашем общественном состоянии, Толстой вырос в наших глазах, и вырос не как художник, но как определенный мыслитель, который проповедничает что-то такое, чего прежде никто не проповедничал. С ним мы можем не соглашаться, можем считать несостоятельными его взгляды, но не считаться с ним мы уже не можем, по той простой причине, что он выражает в конкретной и определенной форме состояние нашей души. Толстой, как-бы ни была спорна мировоззренческая его взгляды, представляет сознание нашего времени и знает обстоятельство он, главным образом, и является представителем современной русской литературы.

Это сознание, однако, довольно туманно; оно не вылилось пока в определенной форме, в нем еще не рисуется определенный идеал, который, подобно свечу, мог бы осветить нам дальнейший путь; это — только начало, зародок будущего устроения движения. В каких формах оно выльется во, концы-концов, мы не знаем, мы даже

приблизительно не можем это сказать, и несомненно, что в настоящую минуту мы переживаем таинственный процесс, среди которого зарождается новый идеал жизни. Но, повторю, — пока это только зародок. А так как и вся современная литература увлечена в этот процесс, то понятно, что и она не может, пока, представить что-либо цѣльное, конкретное, ясное в своих оценок. Вот почему, все в этой литературе кажется разрозненным, неопределенным; замечается различие течений, видется путаница. Но, в этой путанице можно разобраться, если только мы строго будем помнить, что современная литература переживает критический момент, и если мы будем пользоваться, при этих разсуждениях, такими руководящими, каковы является Толстой.

Обратите, например, внимание, на современную русскую поэзию. Еще не загорая то время, когда русская поэзия, даже в лучших своих представителях, была часто публицистической отвлеченной; воспевавшая не «чистая красота», а страдания народа, выслушивавшая в речах дворянские предрассудки, чиновничество; Некрасов казался величайшим из русских поэтов и Пушкин, вместе с Лермонтовым, был забыт. Так было до самой смерти Некрасова. С тех пор и десяти лет в прошлое, и посмотрите, какая замечается теперь разница. Являлось новое, многочисленное поколение поэтов, более или менее даровитых, — поколение, которое не имеет ровно ничего общего с прежними поколениями. Прежние поэты, поэты шестидесятых годов, были жрецы жизни, для них искусство играло лишь служебную роль по отношению к жизни, а новые поэты, без какого-либо исключения, поклонники и жрецы «чистого» искусства, разсматривая его во его независимости от всякой жизни, гордо парящего в небесах и со скелетами

ческой улыбкой относящегося къ мелким ничтожнымъ людскимъ заботамъ, страданіямъ и радостямъ. Среди этихъ современныхъ поэтовъ, есть много всякихъ направленій; казалось-бы, что ихъ нельзя приурочить къ какой-нибудь одной мысли, но ихъ на въ какомъ-нибудь смысле нельзя уличить въ тенденциозности. Темъ не менѣе, несмотря на все это многообразие направленій, между современными поэтами можно замѣтить нѣчто общее, настолько общее, что, на сколько мнѣ известно, оно еще не было подмѣчено русской критикой. Каковы-бы ни были дарования этихъ поэтовъ, будешь-ли имъ ихъ считать великанами или гномчиками, какъ выразился одинъ критикъ, — все таки у всѣхъ ихъ есть черта, которая ихъ объединяетъ: она метафизична. Этихъ я хочу сказать не то, что они воспитаны въ своихъ стихотвореніяхъ какую-либо изъ метафизическихъ системъ, а лишь то, что ихъ настроеніе метафизично, что на жизнь, на судьбу, на человечество, на міръ, они смотрятъ не съ позитивной точки зрѣнія, объединяя данные науки, а съ точки зрѣнія метафизики, которая, какъ известно, не имѣетъ ничего общаго съ наукой, метафизика, которая обращаетъ свое исключительное вниманіе на непознаваемое и пренебрегаетъ тѣмъ, что познаваемо путемъ опыта и наблюденья. Благодаря тому-же метафизическому настроенію, наши молодые поэты, предаваясь чувству гармоніи въ природѣ, придаютъ исключительную важность своему я, своему чувству и разуму, и поэтому, по преимуществу, являются лириками. Безусловно добряя верховнымъ атрибутомъ своего разума, они съ высоты его судятъ человечество и жизнь, и этихъ являются какъ-бы скрытыми послѣдователями Гегеля. Между ними есть пессимисты и оптимисты (больше пессимистовъ), но это общее настроеніе такъ ярко, что его нельзя не замѣтить. И, послѣдствіе этого настроенія, они отчасти идутъ

по тѣмъ слѣдамъ, по которымъ идетъ самъ Толстой. Въ своемъ тузанномъ лиризмѣ, они вырабатываютъ тотъ-же идеалъ жизни, о которомъ такъ много хлопочетъ Толстой. Какъ это имъ странно, но это такъ. Дѣло, конечно, не въ формахъ, а въ сущности. Конечно, не многие изъ нашихъ современныхъ поэтовъ проповѣдываютъ, что нужно жать по-пужичьи, какъ думаетъ Толстой, что женщина только мать семейства, а вовсе не представительница во французскомъ салонѣ, что ей дѣло не бестужескіе курсы, а рожденіе дѣтей. Нѣтъ, до этого наши поэты еще не дошли; но, замѣчательно, что съ Толстымъ они сходятся въ одномъ, — въ преобращеніи къ наукѣ, въ томъ, что совершенствованіе человека заключается не въ цивилизаціи, не въ просвѣщеніи, а въ отъключеніи отъ роутины, которое должно разрѣшить всѣ сомнѣнія и дать настоящій, истинный смыслъ жизни. Теперь я не указываю на факты и имена, но въ послѣдствіи, надѣюсь, буду имѣть не разъ случай указать на эту тайную связь между «проповѣдью» Толстого и нашими современными поэтами.

Беллетристика, думается мнѣ, переживаетъ тотъ-же самый или, приблизительно, аналогичный кризисъ. Во многообразіи этой беллетристики очень трудно разобраться. Тутъ мы находимъ всѣ направленія, всѣ школы. У насъ найдутся натуралисты à la Зола, тайные сладострастники — пессимисты à la Юнглансъ, просто пессимисты, беллетристы, склонные къ романтическому настроенію, просто забавники-разсказчики, но больше всего у насъ такихъ беллетристовъ, которые сходятся рѣшать «общечеловѣческія» задачи и, подобно Толстому, ищутъ «смысла жизни». Не странно-ли, въ самомъ дѣлѣ, что большинство нашихъ беллетристовъ тайно или явно подражаетъ Толстому? Что это подражаніе не имѣетъ въ виду одной лишь техники или художественнаго образца, — оче-

видно. Подражать не столько художественным приемам Толстого, сколько его общему тону, вышедшему органическую связь с его идеями и с его мировоззрением. Да, в сущности, подражание никогда и не может ограничиваться одной лишь технической стороной. В искусстве форма с содержанием так тесно связаны, что, подражая форм, невозможно подражать содержанию. Говоря, например, что английский поэт Свэнберн есть подражатель Виктора Гюго, мы хотим сказать этим не только то, что он подражает приемам Гюго, его форм, стилю, его отрывочным, оборванным фразам, его метафоричности и художности; мы желаем сказать, что Свэнберн пропитан тем же духом, который мы замечаем в Гюго, его романтическим протестом, его метафоричностью политическими и социальными. Такого же точно подражателя Толстого является большинство наших беллетристов. Сознательно или бессознательно они участвуют в развитии мировоззрения Толстого и вообще, так или иначе, они стоят на точке зрения Толстого, — может быть, и не подозревая этого сами. Они ищут смысл жизни также, как и он, в том же самом направлении и с теми же чувствами неудовлетворенности настоящим, к чему мы обращаемся в Толстого. В этом отношении было бы большою ошибкой принимать во внимание ту литературную школу, в которой принадлежат тот или другой беллетрист. Школа — дело формальное и мало касается содержания. Глубь Успенский и Толстой принадлежат к различным школам, но посмотрите как часто Успенский не только приближается к мировоззрению Толстого, но даже и прямо его проповедывает. (Стоит лишь вспомнить, между прочим, анализ, очень остроумный и талантливый, Успенского фигури Коротаева (из «Войны и Мира»). В этом анализе можно осознательно видеть,

до какой степени он близок к Толстому по взглядам.

И, все-таки, характеризовать в общих чертах современную русскую беллетристику не только трудно, но, я думаю, и прямо невозможно. Несмотря на эту общность, так сказать стилистическую, которая раскрывается лишь при очень внимательном и кропотливом анализе, в русской современной беллетристике царствует такой хаос форм и содержания, направлений и школы, разбросаться в котором нет возможности. Говоря это, я вовсе не хочу сказать, что среди современных беллетристов нет людей талантливых. Напротив, такие люди есть, а между ними г. Чехов выделяется, как человек чрезвычайно талантливый, от которого можно ожидать очень многого. Я хочу сказать только, что в современной беллетристике нельзя усмотреть никакого-либо одного общего идеала, который бы придавал современному художественному движению смысл и философию. Этой философии, по несчастью, нет. Подобно поэтам, наши беллетристы так всецело поклоняются «чистому» искусству, так далеки от какой-либо тенденциозности, так высоко парят в облаках, такую важность приписывают этому парению, что усмотреть в каких отношениях они находятся к жизни и к русской действительности, — представляется делом, которое выше сил простого критика. Иногда случается так: читаешь произведение одного из известных беллетристов, и невольно задаешь себе вопрос: Зачем все это писано? Что хотел сказать автор своим произведением? Какое чувство или какая мысль шевелились в нем тогда, когда он писал его? Задаешь себе эти вопросы и не отвечаешь на них, ибо отвечать невозможно. Я думаю, что и сам автор, если бы ему задали этот вопрос, не сумел бы ответить на него. В нем что-то шевелилось, он тем-

то жил, что-то чувствовал, — и все это старался выразить в своем произведении. Но его вина, если это «что-то» на столько туманно и неясно, что не поддается никакому определению; все это было ему навечно духом времени, — но его вина, если этого духа времени еще никак не определили и пребывают в безформенности. Со временем он примет осознательную форму, а тогда и наши беллетристы представят из себя нечто осознанное и понятное.

Вот, в таком положении, те мысли, которыми невольно занимаюсь в эти вечера наблюдательного человека, когда внимательно рассматриваешь современное состояние русской литературы. Может быть, эти мысли и не особенно отрады; может быть, было бы лучше, если бы современная литература представляла нечто более цельное, более определенное. Но что же делать, если этого нет? Утешимся тем, что последние органические эпохи, подобно эпохе Тургеневых, наступают мигнутом временного упадка, и, затихнув, начинается новая творческая работа, которая непременно приведет к созданию нового сильного идеала, — ибо в силах человечества никогда не следует отчаиваться. Такою творческой работой и занята современная русская литература. Будем надеяться, что она скоро завершит этот труд и достигнет желанной цели.

В. Луцкий,

Петербург.